





Говорят, главное в любви – поступки, но у Милы они как-то не выходили. Зато когда она говорила, тягуче и под гитару, что нет «другой такой ни за какой рекой», когда смотрела мне в глаза долго-долго, всю песню, я понимала, что она пытается. Пытается любить. Попытка любви должна быть оценена выше, чем внезапная быстрая любовь.

Завешиваем шторы, двигаемся на табуретке назад-вперед-назад; звучим не как жена Мила и школьница Тая, а как две девушки без возраста, которые сошли откуда-то, куда вы всегда боялись запрокинуть голову, и произносят то, что вы всегда боялись запечатать в слова.

Ты у меня одна. Словно в ночи луна,  
Словно в степи сосна. Словно в году весна.  
Нету другой такой ни за какой рекой,  
Нет за туманами, дальними странами.

В сумерках города. В инее провода.  
Вот и взошла звезда, чтобы светить всегда.  
Чтобы будить в метель. Чтобы стелить постель,  
Чтобы качать всю ночь у колыбели дочь.

Вот поворот какой делается с рекой,  
Можешь отнять покой. Можешь махнуть рукой.  
Можешь отдать долги. Можешь любить других,  
Можешь совсем уйти, только свети, свети\*.

Говорят, главное в любви – поступки, но у Милы они как-то не выходили. Зато когда она

говорила, тягуче и под гитару, что нет «другой такой ни за какой рекой», когда смотрела мне в глаза долго-долго, всю песню, я понимала, что она пытается. Пытается любить. Попытка любви должна быть оценена выше, чем внезапная быстрая любовь.

Мила смотрит в меня, зрочки в зрочки; Мила всковыривает во мне все эмоции, у которых кончается уже срок годности, не давая им начать гнить; Мила подстрочно, на каком-то небывалом метауровне по отношению к тексту песни, благодарит меня (я чувствую!) за то, что когда-то я навсегда приняла ее.

«Мы сплетаемся, мы перемешиваемся, мы грем руки о гитару и о благодарность друг другу; сплетаемся только сейчас; я знаю, кончится песня – и мы снова будем получужими, но пока – мы родные, и это то слово, которое ты запрещаешь мне говорить», – поет подстрочником Мила.

Песня кончается – и Мила снова берет без спросу мои резинки для волос, готовит тушеную курицу с овощами, которая получается недоготовленно-резиновая, ставит туфли вдоль коврика, просит тише говорить с бабушкой по телефону (потому что в тишине лучше усваивается еда), пропитывает собой всю квартиру и спит долго и сладко, голая, и запах усиливается после ночи. Мила строгая и точная там, где точность не нужна, она требует многого в том, чего папа заметить не может, и прощает то, что у всех на виду. Мила не знает, какая взрослая девушка Тая, – у Милы была дочка, но она умерла: ее загрызли собаки.

– Таечка, мы же договаривались: гель для душа ставим на верхнюю полку. «Юки-онна»\*\* – твой? Убери его.

– Таечка, мы же решили: день готовишь – ты, два – я.

– Таечка, стучись, пожалуйста, к нам, прежде чем войти.

Милочка, я никогда не стучалась в комнату к папе.

### 3.

Север. Папа рассказывал, что с мамой он познакомился на Северном полюсе, в экспедиции. Рассказывал еще, что у нее были волосы, светлые, как жасмин, то есть почти белые, и прямые.

\*\* Персонаж японского фольклора. Перевод с японского 雪女, «снежная женщина».

\* Песня Ю. Визбора.

Были веснушки, как у меня: в тех же местах, за щечкой и на носу. Были привычки, никому, кроме него, непонятные: например, что пила вместе и кофе, и чай; что совсем не боялась постареть и ждала-ждала первых совместных с папой морщин. И что она тоже была полярником. Я пыталась, честно, пыталась представить маму без веснушек и с черными (или рыжими крашеными) волосами – не могу.

- Таечка, почему ты захотела на север?
- Крот, как ты нашла этот питомник?
- Это и не север вообще, а Карелия, то есть почти-север.
- Там же хаски, ой, чукотские ездовые.

Слушаю, не думаю, складываю пальцы в замок сверху-левой-нет-сверху-лучше-правой-рукой, играю взглядом на собачках в коридоре, как на ксилофоне.

- Ладно. Рюкзак, термоноски, ботинки. Сколько там платят?

В питомнике ездовых собак в Карелии я работала три месяца, всю зиму. В школе отпустили («только задания вовремя сдавай»); заплатили для школьницы много; ботинки купили, было интересно попробовать жить одной; полярная красная куртка добавила пару лет. Инструктор Тая, которая выросла без мамы, а теперь управляет собачьей упряжкой лучше взрослых, твою мать, – такому инструктору можно было довериться.

Жасминовый снег; два звука, одинокие в карельской увертюре – собачий лай и скрип сапог «Полярник»; на обед только суп; вечером баня; много работы: убирать какашки – лопатой чистить будки от желтого снега – запрягать-распрягать – управлять-показывать лес – помнить, что все команды отдавать только собаке-ведущему в упряжке – проводить гостям экскурсии по питомнику – здороваться длинно, а не просто здравствуйте и все, – подшивать пологи на швейной машинке – продавать сувенирных маленьких собачек – зарабатывать деньги, зарабатывать на чаевые. И петь, петь одной в лесу, продавливая снег напротив упряжки, петь чисто и чтобы голосом сразу в небо. Собачья карельская медитация. Не «до ре ми фа соль ля си», не

Ut queant laxis  
resonare fibris  
Mira gestorum  
famuli tuorum,  
Solve polluti

labii reatum,  
Sancte Iohannes\*

(названия нот – первые слоги гимна Иоанну Крестителю, где ут впоследствии заменен на до).  
А так:

Арго – аспидно-черный на макушке и с человеческими глазами,

Чучо – чмокает меня носом, как будто целует,

Цукат – целую вечность может просидеть рядом и не мучиться молчанием,

Зенит – злится чаще других и ведет в упряжке чаще других,

Юки – ютятся в будке, когда я пою,

Багира – берет варежки из рук и нюхает у людей под коленями,

Ерта – единственная, кто слушает мои песни.

И еще пятьдесят четыре.

Папа с Милой были плоскими: в эти месяцы мы общались только по видео. Через родимое пятно камеры на теле телефона родители видели лес, кипенный и серьезный, завхоза питомника, который говорил прямо в камеру безымянное «чем больше узнаю людей, тем больше люблю собак», мои эбонитовые колечки на указательном и большом, комнату для сна, швейную машинку и собак: чукотских, таймырских ездовых, лаек, хаски, мамутов и одного кокосово-светлого самоеда.

«Самоеда? – скалится Мила. – Он что, себя ест?»

Смеюсь, но аккуратно, чтобы ресницы не слиплись: нет. Он самоед – потому что кажется, что нарты едут сами. Собаки не видно. Мила:

– Знаю.

Папа говорил со мной мало и мягко, а Мила – больше. Сначала о менее важном: «Чем кормят? Без второго – только суп? Ты одна – девушка-инструктор?» Потом – о более важном: «Нравится лес? Линзы контактные не закончились?» Потом, опасливо-участливо, подбирается к необычному: «Пологи не рвутся? Часто меняются лидеры в упряжке?» И наконец: «Собаки чего-нибудь боятся?»

В конце второго месяца зимы почти каждое утро я стала выносить телефон в лес. Пела. Находила слова. Пела так, как поют обычно в душе,

\* Перевод с латыни Р. Поспеловой:  
Чтобы открытыми устами  
Смогли воспеть рабы  
Твоих деяний чуда,  
Вину с порочных губ ты отпусти,  
Святой наш Иоанн.

а я – в глуши, где за километры никого нет. Звонила из леса папе: любопытно было погружать его в тишину, где были только Земля, собаки и я. С шестью собаками в лесу не страшно: можно заезжать куда хочешь и куда не добрался бы один. Завтракая, папа говорил со мной. Я чувствовала запах кунжутного масла. Мила была рядом.

– Останови камеру, – выкрикнула она однажды, – не двигай.

Лес замер. Кроны сосен больше не ходили по кругу, небо больше не тряслось, камера не переходила с лица на собаку – с собаки на нарты.

– Как зовут того самоеда? – спросила Мила.

– Юки.

– Осторожнее с ним. При нем не пой.

И все снова по-старому: у папы – завтрак и кофе, у меня – нарты-снег-небо, мои песни а капелла, скрип ботинок и ежеутренние звонки из самой квинтэссенции тишины. Только мне показалось, что Мила знает эту собаку.

#### 4.

Почему «мачеха» и «мама» так похожи в языке? На деле это ведь совсем разные существа. Я ни разу не видела маму в сознательном возрасте – но вспоминаю о ней каждый день, посреди ночи или в разгаре работы, в питомнике или в городе; с Милой же мы проводили месяцы – и я ни разу не подумала о ней, стоило мне уехать.

Правда, когда Мила приехала в питомник, она тоже перестала выходить у меня из головы – все пропиталось запахом, таким бойким, но таким неприятным, знакомым и незнакомым одновременно (с одной стороны, это был запах давно понятого человека, с другой – незнакомой женщины, то есть не-мамы). Родители приехали забирать меня заранее, молочная карельская тишина пьянила. Проведя выходные в питомнике, они уже не хотели уезжать.

– Крот, какая ты смелая! – не выдерживал после езды папа. – Собачья упряжка, сугробы... Горжусь тобой.

Как говорится, *to je ve hvězdách\**, раз уж мы о кротах. Сегодня мы сильные; стареем, чтобы стать вечными, слабеем, чтобы стать еще сильнее.

Мила торопила. Должно быть, она плохо засыпала ночью из-за воя и возни собак и думала о доме. Дверное кольцо она держала, как бинт:

чтобы потрогать – и навсегда его оторвать или от него оторваться. Мы оторвались от земли в последний вечер перед отъездом.

Я выхожу из бани: в руке детский крем, ботинки на голую ногу. Вглядываюсь в протоптанные дорожки, все теряет цвет в темноте. Мысленно прощаюсь с питомником; стараюсь, чтобы это прощание наполнило меня полностью, чтобы было честно. Прохожу мимо будок. Зигзагами лежат на подтаявшем снеге цепи, кто-то забился в будку, чьи-то лапы, перекрещенные, торчат из маленькой будковой бездны, кто-то свернулся рядом и спит, как лиса, припорошенный уже кокосовой стружкой. Подхожу к Чучо за поцелуем, трогаю пальцем его черный нос. Рядом будки Арго и Юки. Пою нашу с мачехой песню.

В сумерках города. В инее провода.

Вот и взошла звезда, чтобы светить всегда.

Что-то ударяет меня под колени, рычит, что-то сырое дотрагивается до моего горла, что-то в четыре раза сильнее, чем палец, продавливая мне легкие.

– Дочка! – Мила прокатывает меня по снегу, и я врезаюсь затылком в другую будку. – Дочка, дочка, иди ко мне.

Сырое и рычащее валится; и оно, и я чувствую запах озона, только ему озон не нравится больше.

И я пикирую с какого-то внутреннего решающего обрыва, переворачиваюсь лицом в молочный жасминовый снег. Нет, Мила не просто знает эту собаку, Мила просыпается голая по ночам от четырех звуков имени Юки, ее пятилетнюю дочку в Петрозаводске Юки загрыз четыре года назад, Мила переставляет гель для душа «Юки-онна» на верхнюю полку, Мила не может спать днем от снов о самоеде, который боится детских песен, его зовут на Ю, почти как в «люблюю», вот почему Мила так не выносит ни того ни другого, его шерсть испачкана в чем-то коричневом (что это? земля, засохшая кровь?), его взгляд уже потух, ему не интересен ребенок внизу, разорванный рот ребенка открыт, еще не засохла слюна вместе с недопетой девочкиной песней.

– Тая? – Мила трясет меня за плечи.

Я беру ее за щеки, оголяются креветковые десны, Мила сейчас – человек-который-смеется, уголок ее рта вскрыт и задран, я целую Милу в глаза, в куртку в живот, в икры. Мила шепелявит.

– Целился в рот, сука. Как он здесь оказался? До конца не верила, что он жив.

Мы идем в комнату для сна, папа делает все за Милу, ей не нужно наклоняться, «чтобы стелить

\* Перевод с чешского: вилами по воде писано.

